



Черты первобытного примитивизма воровской речи. 1933

I

Предлагаемая работа носит конспективный характер. Затронутых вопросов в ней слишком много, чтобы доказательства отдельных положений оказались достаточно убедительными. Сжатость работы отразилась на ясности, обоснованности, полноте и развернутости изложения и на точности установления научной преемственности того или иного высказанного взгляда.

Но не в доказательности отдельных положений центр тяжести работы: она носит по преимуществу проблемный характер, в ее задачу входит анализ общей картины воровской речи и место этой речи в современном языкознании. Работа ставит своей задачей также типологическую характеристику, убедительность которой в целом доказывала бы правильность отдельных высказываний.

Вопрос о типологии воровской речи впервые поднимается в литературе об аргю. С этой точки зрения настоящей работе приходится идти по совершенно новому пути, обращаться к таким сторонам речи воровской среды, которые до сих пор ускользали от внимания многочисленных собирателей воровского аргю, чей подход ничем не отличается от



подхода к любому национальному языку, стоящему на уровне современного культурного мышления.

Многочисленные соображения психологического или формально социологического характера, выдвигавшиеся исследователями для объяснения отдельных явлений арго, не могут ни существенно что-либо прибавить к нашей характеристике арго, ни существенно ей повредить. Вот почему мы откладываем критическое рассмотрение взглядов исследователей воровской речи до одной из последующих наших работ об арго, где это будет уместнее сделать.

Повторяем, в задачу данной работы входит типологический анализ воровской речи, и противопоставить нашей попытке разрешения этого вопроса можно только иной типологический же анализ.

Изучение воровского языка так же точно, как и любого иного, должно опираться на выяснение той среды, которая этим языком пользуется¹.

Воровская среда, та, которую мы будем иметь в виду при анализе воровской речи, т.е. среда воров-профессионалов, прежде всего является средой деклассированной, люмпен-пролетарской.

Мы должны сразу же оговориться, что хотя «...люмпен-пролетариат представляет из себя явление, встречающееся почти во всех бывших до сих пор фазах общественного развития...» (Маркс, Энгельс. Соч., т. VIII, стр. 123), начало существования сплоченной воровской среды должно относиться по преимуществу ко времени, когда массовая экспроприация земли у крестьян и, следовательно, их быстрая пауперизация создала условия для первоначального капиталистического накопления. Этот «пролог переворота, создавшего основание для капиталистического способа производства, относится к последней трети XV и к первым десятилетиям XVI в.» («Капитал», т. I, гл.24). К этому же времени относятся и первые свидетельства о существовании воровских арго (см. L. Sainéan. *L'argot ancien*, P., 1907 и F. Kluge. *Rotwelsch*, L., 1901). Разоряемое крестьянство быстро пополняло ряды люмпен-пролетариата, и начавшие к этому времени свое развитие города с их сложной дифференцированностью населения создали особенно благоприятные условия для образования среды лиц, связанных общими интересами и поставивших себя в резко враждебные отношения ко всему «легальному» обществу.

¹ В существующей литературе о воровской речи вопрос об ее носителях не получил должного освещения. С крайней небрежностью упоминается в ней о ворах вообще, о преступниках, о «*malfaiteurs*». Между тем совершенно очевидно, что не все преступники имеют жаргон, так же точно, как и не все воры. Некоторые из исследователей пытаются ограничить среду носителей воровской речи только профессиональными ворами — дальше этого еще никто не шел. Между тем и это неверно: не все профессиональные воры прибегают к воровской речи. К ней не прибегают прежде всего так называемые «чистоделы» — воры высокой квалификации, совершающие редкие, крупные кражи и грабежи. Эта воровская профессия требует сугубой осторожности, воры этой категории не связаны с воровской средой.

Таким образом, с самого своего возникновения воровская среда оказывается связанной с капиталистическим обществом, со свойственными этому обществу противоречиями, институтом «священной» частной собственности.

Кастово замкнутая, несмотря на свою обусловленность всей системой капиталистического общества, воровская среда, ее враждебные отношения к «легальному» обществу создают исключительные, инкубаторные условия для развития целого ряда элементов идеологии и речи.

Соответственно в данной работе мы будем опираться по преимуществу на тот материал, который сохранился в воровской среде от периода ее «классического» расцвета. Специфические особенности воровской речи, которые возникли в последнее время, чрезвычайно интересны и требуют особого, обширного исследования, в данной же работе нами затрагиваться не будут.

II

Всеобщим убеждением, ведущим свое начало еще с первых столкновений «легального» общества с воровской речью в XV-XVI вв., является убеждение в ее «тайном» и «условном» характере. Этот слабо обоснованный взгляд, иногда совершенно откровенно роднящий воровскую речь с тарабарщиной, с шифром, с воляпюком, есть своего рода «коллективное представление» исследователей, принятое на веру и никем по-настоящему не оспариваемое.

Современные исследователи или собиратели, знакомые с живой речью воров, предпочитают обходить вопрос о тайном характере воровского аргю молчанием или компромиссными решениями².

Между тем мы либо должны признать тайный характер воровской речи, ее искусственность и надуманность, отвергнув все лингвистические, психологические и социологические соображения по поводу возникновения аргю, которых уже накопилось порядочно, либо отбросить этот устарелый взгляд, признать более естественный путь возникновения и развития воровского аргю и тем самым дать широкие возможности к его изучению как факта социального и лингвистического. Всякие попытки компромиссного решения ведут лишь к запутыванию вопроса.

В самом деле, называть воровскую речь условной и тайной только потому, что она нам непонятна, так же наивно, как и называть иностранцев «немцами» потому только, что они не говорят на языке туземцев. Так же наивно предположение, что вор может сохранять

² Наиболее, может быть, известный из исследователей аргю L. Sainéan, склонный чрезвычайно осторожно относиться к высказываниям других исследователей, не признает тайного характера аргю воров только в XIX столетии. «Il n'existe plus aujourd'hui de langue secrète parmi les malfaiteurs» (Le langage parisien au XIX siècle. P., 1920, p. 483). С недоверием относятся к этой теории и английские исследователи G.P.Krapp и H. Bradley (Encyclop. Britanica, 14 изд., т. 20, 1930). Исключение составляет A.Dauzat, без колебаний занявший резко отрицательную позицию по отношению теории тайного и искусственного характера аргю (ср. главы, посвященные аргю в «La langue française d'aujourd'hui», P., 1923).

конспирацию, разговаривая на своем «блатном языке». Воровская речь может только выдать вора, а не скрыть задумываемое им предприятие: на воровском языке принято обычно говорить между своими и по большей части в отсутствие посторонних.

То, что воровская речь не может служить для тайных переговоров, должно быть ясно, поскольку насыщенность ее специфическими арготизмами не настолько велика, чтобы ее смысл нельзя было уловить слушающему. Воровская речь полна слов и выражений, которые только слегка видоизменяют обычное русское значение, о смысле которых легко догадаться и которые нельзя объяснить простым «засекречиванием». Эти слова, чрезвычайно интересные для исследователя, в словари совсем не попали. Следующие примеры обычных русских слов, только видоизменивших свое значение в воровской речи, подтверждают сказанное: 1) «глубоко» — 'совершенно', 'вполне', 'полностью'; 2) «грубо» — 'хорошо', 'сильно'; 3) «жулик» — 'хороший, опытный вор'³; 4) «нахально» — 'насильно'; 5) «обратно» — 'снова'; 6) «по новой» — 'снова', 'вновь'; 7) «правило» — 'воровской закон', 'воровское правило поведения'; 8) «бедный» — 'несчастный', 'жалкий', 'глупый'; 9) «даром» — 'без усилий', 'без подготовки'; 10) «рискованный», «рисковой» — 'смелый'⁴.

Наконец, для нас станет совершенно ясным, что воровская речь, та, которая попадает в словари и с которой отчасти знакомы широкие читательские круги, не может квалифицироваться как «тайная», если мы примем во внимание, что в воровской среде действительно существуют тайные и условные языки, ничего общего не имеющие с «блатной музыкой». Эти языки действительно условные, потому что прежде чем принять то или иное слово, вору действительно условливаются об их значении. Они действительно тайные, так как употребляются для тайных переговоров. Чтобы не привлечь внимания, слова в них берутся русские, обыкновенные, по значению они подбираются так, чтобы речь имела какой-то смысл для постороннего и не привлекала внимания своей странностью. Слова в них заменяются только самые необходимые, самые нужные. Тайный язык редко выходит за пределы шайки и редко живет больше нескольких месяцев. Такой язык носит название «света» или «маяка». Лингвистического интереса он почти не имеет и может быть законно охарактеризован как шифр или сигнализация.

Обычная речь вора так же естественна и не условна, как и речь представителя любой другой социальной группы. Законы развития всякого языка — ее законы.

Исследователи, определявшие воровскую речь как тайную, правы только в том смысле, что от вора очень трудно добиться каких-либо

³ Широко распространенное слово «жулик» имеет другой оттенок значения, чем в воровской речи.

⁴ Все ссылки на русские воровские слова (в данном месте и в дальнейшем) даются на основании картотеки воровской речи, составленной автором настоящей работы по непосредственным наблюдениям. Значение слов всюду дается условно.

объяснений по поводу тех выражений и слов, которые он употребляет. Происходит это потому, что всякого не вора вор считает своим личным врагом (научные интересы ему, конечно, непонятны, а всякое любопытство, всякие расспросы с точки зрения норм воровского поведения считаются предосудительными). Вор, прошедший не один десяток допросов, вырабатывает в себе тактику запирательства в столкновениях с внешней средой. Вор не дает никаких пояснений о воровской среде, о ее быте, ее языке. И факт этого «запирательства» отнюдь не обязывает нас объявлять воровскую, преступную речь — тайной.

Итак, точка зрения на воровскую речь как на тайную является не только просто ложной, но и вредной, так как, предваряя разрешение многих вопросов, связанных с происхождением воровской речи, затрудняет ее изучение и крайне упрощает проблему.

Мы должны со всей категоричностью отвергнуть теорию тайного характера и условного происхождения воровской речи.

Таким образом, исходное положение нашей работы будет заключаться в свободе от предрассудка, до сих пор принимавшегося за аксиому.

III

Воровские языки всех стран представляют собой блестящий образец того, как под влиянием одних и тех же производственных отношений, социальных условий вырабатывается один и тот же тип мышления. Интересно сравнить вышедшие относительно недавно словари Irwin «American Tramp and Underworld Slang» (L., 1931), E. Chautard «La vie étrange de l'argot» (P., 1931) с русской воровской речью. Оба эти словаря обладают тем большим преимуществом перед всеми, до них составленными, что они основаны на живом опыте, живом непосредственном наблюдении. Irwin имеет даже 20-летний стаж бродяги. Никакие, следовательно, научные традиции в области изучения арго не смогли сгладить все те лингвистические особенности, которые представляет любая воровская речь. Французский словарь обработан в полубеллетристической форме и сохраняет в подробных изъяснениях воровских слов часто самобытные черты воровской семантики⁵.

⁵ Существующие русские словари воровской речи (Ваньки Беца, Трахтенберга, Лебедева, Попова, Потапова, Тонкова, Виноградова и др.) и доступные в Ленинграде иностранные: J.Hotten. A dictionary of slang, jargon and vulgar words. L., 1859 (в русском переводе: В.Бутузов. Словарь особенных слов, фраз и оборотов английского народного языка. СПб, 1867); A.Barrère and Ch. Leland. A dictionary of slang, jargon and cant, embracing Engl.Amer. and Anglo-Ind. slang. L., 1897; Bauman. Londonismen.Berl., 1887; Delvau. Dictionnaire de la langue verte. P., 1876; Timmermans. L'argot parisien, P., 1922; не способны в большинстве случаев дать представление о воровской речи (точнее всего передают семантику воровских слов, по-видимому, словари Irwin и Chautard, уже упомянутые). Воровские слова, как правило, переводимы лишь с трудом. В отношении их вполне применима характеристика, которую дает В.Malinovsky словам примитивных народов: «Returning to the meaning of abstraction, of generalization and vagueness associated with extreme concreteness of expression all these features baffle any attempt at a simple and direct translation» (см. книгу С.К.Ogden «The Meaning of Meaning». New-York, 1930. I Supplement: В. Malinovsky. The problem of Meaning in Primitive Languages, p.300)

Читатель, вооруженный живым знанием русской воровской речи, воспринимает оба словаря как нечто хорошо знакомое. Один и тот же тип мышления, сходный до мелочей, поражает в каждом арготическом выражении. Одно и то же отношение к окружающему миру, стереотипное, как и все у воров, создает иллюзию перевода. Одни и те же понятия замещают друг друга. Одни и те же представления лежат в основе многих воровских понятий. Одна и та же идеология выражается в эмоциональной окраске воровских терминов.

Приведу несколько примеров, встречающихся при беглом просмотре словарей.

Такое основное для вора понятие, как 'тюрьма', имеет на всех языках сходный образ для своего обозначения: у Irwin'a — «academy», «college», «big school»; у Chautard'a — «collège», «lycée», «pension», «séminaire»; в русской воровской речи — «академия», «университет». 'Преступление': у Irwin'a — «job»; у Chautard'a — «l'affaire»; в русском — «дело». 'Быть преследуемым': у Irwin'a — «to be in hot water», «heat»; 'арест' — «hot»; 'преследуемый полицией', 'обнаруженный полицией', 'опасный' — «hot stuff»; 'украденные вещи' — «to burn up»; 'обмануть', 'выдать'; в русском: «погореть» — 'быть пойманным'; «пожар» — 'арест'; «печка» — 'опасное место'; «баня» — 'допрос'; «сжечь» — 'выдать'⁶.

Если бы мы имели возможность подробнее рассмотреть основные воровские понятия, мы выявили бы картину любопытного совпадения мышления, однотипность словообразования.

Несомненно, мы не имели бы этой разительной общности, если бы воровская идеология (при условии, что термин «идеология» здесь уместен) не проникла во все детали воровского мышления, если бы в воровском мышлении не господствовали те самые «общие представления», которые Леви-Брюль считал характерным признаком дологического мышления.

Своеобразные условия, в которые поставлена воровская среда: постоянное враждебное положение по отношению к «легальному» обществу, примитивно охотничьи приемы деятельности, бродячая жизнь, огромная роль личных качеств и «естественных» условий при совершении краж, общее потребление и т. п., создают предпосылки, в соответствии с которыми в речи и в мышлении возрождаются явления, аналогичные первобытным.

Исследования криминологов сделали неоспоримым факт повышенной внушаемости у воров, равной, по некоторым психотехническим исследованиям, внушаемости пятилетних детей. Это создает необычайно благоприятные условия для внедрения традиционных обычаев и верований. Отмеченный еще Спенсером («The Principles of Sociology») консерватизм первобытных людей — факт, давно ставший общепризнанным, характерен и для вора. Социальное подполье консервативно,

⁶ Связь представления о жаре, горячем с представлением об опасности, о каком-то кризисе характерна также и для офенских языков. Ср., напр., получившее широкое распространение офенское слово «прогореть» — 'разориться'.

блатной обычай косен, догматичен и деспотичен. Воровская среда живет традицией, догмой обычая, требует от вора не индивидуализации, а ассимиляции. Склонность принимать чужую установку, несамостоятельность и неспособность субъекта к спонтанному психическому акту, инфантильные формы поведения — таковы те психические факты, которые подготавливают почву для образования сложной сети коллективных представлений, охватывающих всю жизнь вора до мельчайших ее деталей.

Нечего говорить о том, что как само содержание этих представлений, так и сам факт их существования обусловлены единственно социально-экономической действительностью.

Поведение вора в своей среде ограничено бесчисленным количеством правил, норм, своеобразных понятий о «приличии», «хорошем тоне», сложной иерархией подчинения друг другу. Каждое из нарушений этих норм поведения карается воровским судом с оригинальным судопроизводством, с немедленным приведением в исполнение всегда жестокого наказания. Власть воровской среды над индивидуумом исключительно велика. За внешней распушенностью воров скрываются жесткие, тесные, предусматривающие все, вплоть до мелочей, правила поведения, а в конечном счете общие, «коллективные представления», которые делают поразительно похожими воров различных национальностей.

У воров мы действительно имеем дело с другой психикой, с другим характером мышления и притом общим для всей воровской среды.

Особенности мышления воров — весьма обширная тема для исследования. Рассмотрим только те из них, которые имеют непосредственное отношение к языку.

Основное отличие воровского мышления состоит в возрождении элементов магического отношения к миру и будет для нас весьма важным в дальнейшем. В самом деле, ремесло вора чрезвычайно подвержено случайностям обстановки, полно риска и неожиданностей. Так же, как и первобытный человек, вор не приписывает «продукт своего труда» только счастливому стечению обстоятельств или только своим личным качествам. То, что мы называем суеверием и что является остатком первобытного магического сознания, возрождается с новой силой в воровской среде, живет не только пережитками прошлого, но и находит в себе силы для дальнейшего развития⁷. У воров сильно развита вера в сны, в предзнаменования и в приметы, большое место занимают гадания. Хорошие предзнаменования могут побудить вора на самую дерзкую кражу, плохие — отказаться от «верного дела».

Воры обычно имеют при себе одну или две колоды карт, на которых гадают приемами игры в штос. Необычайно распространенная в воровской среде игра в карты (притом способами, значительно отлича-

⁷ Основной момент, порождающий суеверия в эпоху первобытного коммунизма, — «...бессилие дикаря в борьбе с природой...» — был сформулирован Лениным (Два письма Горькому. Соч., т. XVII, стр. 85). Та же причина — борьба, правда, не с природой, а с «легальным» обществом, — порождает, очевидно, аналогичную психику воров.

ющими ее от обычной) носит характер своеобразного примитивного культа. Хороший игрок в карты («играющий») ценится не меньше, чем хороший вор. Достоинства игрока конкурируют с достоинствами вора. Карты в сознании вора неразлучны с его профессией. По положению карт во время игры он судит о своем будущем, о предстоящей краже: выиграв, он уверен в удачном завершении своего предприятия, проиграв, он теряет всякую веру в себя. Достаточно вору удачно играть в карты (даже заведомо употребляя шулерские приемы, которые отнюдь не предосудительны в воровской среде и оговариваются известными правилами игры), чтобы любой вор взял его компаньоном («корешем», «клиентом») в свою шайку в надежде, что счастье («фарт») будет на его стороне.

Леви-Брюль нашел бы немало классических образцов первобытного магического сознания у воров, правда, не в полной степени и не в полной мере.

IV

Один из интереснейших моментов этого первобытного магического сознания — магическая сторона слова.

Общение, коммуникация, которую представители французской социологической школы кладут в основу существования и зарождения языка, играет в воровской среде минимальную роль. Между тем именно на коммуникации, двусторонней связи основана интеллектуальная сторона слова, противоположная магической.

Связь, устанавливаемая воровским словом, всегда односторонняя: либо это сигнал, либо в той или иной форме выраженное понуждение.

Разберем прежде всего сигнальную функцию воровской речи, лучше всего понятную нашему языковому сознанию.

«Подбор первых слов даже звуковой речи имел функцию орудия производства согласно мировоззрению людей тех эпох, и в отличие от орудий из природного материала мы словесное, линейное или звуковое орудие (не спорю, на наш взгляд, весьма сомнительное) и вынуждены были назвать магиею» (Н.Я. Марр. «К семантической палеонтологии в языках неафетических систем», Л., 1931).

Нельзя дать лучшей характеристики воровского слова, чем характеристика его как орудия. Вор интересуется не передачей своих мыслей и взглядов (это, очевидно, подразумевается под термином «общение»), а единственно лишь тем эффектом, который слово производит на окружающих⁸.

В наиболее чистом виде слово как орудие проявляется в сигнале. Таковы воровские «зекс», «шесть», «за шесть», «шестнадцать», «цинк»,

⁸ Напомним характеристику, которую дает примитивным словам Malinovsky: «...we can say, that language in its primitive function and original form has an essentially pragmatic character, that it is a mode of behaviour, an indispensable element of concerted human action» (The Problem of Meaning in Primitive Languages. Приложение к книге С.К.Огден: The Meaning of Meaning. N.Y., 1930).

«пуль», «тырь», «вались», «ропа», «ша», «на», «шакай», «стрёмь», «казаки» и др.

Воровские слова-сигналы могут быть отождествлены в известной мере с терминами спортсменов при игре в футбол, теннис и т. п.⁹, только гораздо более развитыми и глубже проникшими в быт. Так же точно, как при игре повторяющаяся ситуация создает обстановку, при которой короткий выкрик позволяет сразу уяснить себе часто весьма сложное, хотя и стереотипное положение и одновременно приказывает совершить известное действие, — у воров несложность и стереотипность положений и выработанность определенного образа действия создают почву для развития сигнальной речи по преимуществу. Примитивность воровской деятельности и «производственных» отношений играют в этом, конечно, основную роль. Примитивные формы труда создают положение, при котором достаточно указать на ситуацию, чтобы характер действия был ясен. Понятно, что то чрезвычайное распространение, которое получил сигнал в воровской среде, может иметь место только при не менее сильном развитии коллективных представлений и норм поведения, при стереотипности реакций, при полном растворении индивидуума в общем воровском стаде. Малейшее нарушение воровских норм поведения ведет к расшатыванию всего языкового уклада воровской среды, рассчитанного на безусловное подчинение коллективу.

Воровское слово не способно раскрыть какое-либо новое для вора содержание, оно лишь указывает на факт. В воровской речи мы имеем дело с апперцептивным процессом по преимуществу.

Помимо тех чистых форм сигнала, которые приведены выше, большинство воровских слов носят более или менее сигнальный характер. Необходимо отметить, что правила воровского «приличия» не позволяют вору задавать вопросы. Это не только мера предосторожности, необходимая для соблюдения тайны, — правило это лежит глубоко в языковом сознании воров и связано с их подсознательной верой в магическую силу слова. В самом деле, слово для вора не только «орудие производства», к которому часто прибегаем и мы, — приказание, но и заклинание.

Нам не удалось еще установить факта существования в воровской среде заклинания в своей чистой и откровенной форме. Для этого воровская среда слишком связана с современностью, но в скрытой, завуалированной форме вера в силу, воздействующую на неодушевленные предметы, в ней тверда и прочна. Прежде всего та необычайная, совершенно чудовищная гипертрофия брани в воровской среде; брань, буквально через слово пересыпающая воровскую речь и ни к кому конкретно не обращенная, говорит о каком-то стремлении сделать свою речь действенной. Несомненно, что психология брани, преимущественно сексуально направленной и обращенной к неодушевленным предметам (в особенности при работе), свидетельствует о пережитках

⁹ Аналогичное сопоставление сделано было В. Лебедевым в предисловии к «Словарию воровского языка» («Вестник полиции», 1909, N 22).

магических воззрений. Брань у воров не только подкрепляет каждое воровское слово, но подчас и заменяет его, давая возможность существованию так называемых «сказочек», повествующих какую-либо несложную историю. К сожалению, откровенно эротический и исключительно циничный характер воровской брани не позволяет нам привести сколько-нибудь убедительную иллюстрацию своим словам.

Для характеристики той силы, которая придается бранному слову, укажем, что брань, обращенная не в пространство, «на воздух», как это обычно имеет место, а к вору, составляет оскорбление, смыть которое может, по воровским представлениям, только кровь. Устраиваются своеобразные дуэли на картах, кончающиеся кровавой развязкой; в местностях, где особенно строго соблюдаются воровские законы, оскорбление отмщается смертью.

Явление не менее характерное, чем брань, — воровская «божба», клятва. Какой смысл был бы в клятве для вора, если бы в его сознании не укоренилась скрытая вера в магическую силу слова? Между тем вор очень часто прибегает к клятве (обычная формула: «лягавым буду», «сука буду, не забуду — век мне на свободе не бывать» и некоторые другие).

Но большая или меньшая сила придается также и обычным, не бранным «блатным» словам.

Те же особенности деятельности воров, которые вызывают их повышенную внушаемость, обуславливают положение, при котором все поступки рассчитаны на признание со стороны.

Что бы вор ни делал, он делает всегда с расчетом на зрителя, на публику, — это дает ему необходимую силу для риска («на людях и смерть красна»). Это свойство воров отлично схвачено некоторыми нашими писателями (Бабелем, Кавериним).

Бытовое явление в воровской среде — рассказ вора о своих подвигах. Любопытнейший факт заключается в том, что истинность происшедших событий не играет в этом рассказе особой роли. Действительно имевшее место событие служит только исходным моментом: врать разрешается точно так же, как в картежной игре разрешается прибегать к шулерским приемам. Остановить и изобличить рассказчика во лжи — глубокое оскорбление; оно воспринимается как посягательство на воровскую «силу», на «блатное достоинство». Возразить хвастающему можно только в том случае, если он имеет за собой какое-либо нарушение воровской этики, воровских «правил» (законов). Одним, правда, довольно легким наказанием, применяемым наравне с изгнанием из своей среды, служит запрещение хвастать. Вор в этом случае не имеет права рассказывать о своих «подвигах». Любой имеет право остановить хвастающего, даже если все им рассказываемое — абсолютная правда. Рассказ (почти всегда стереотипный) обычно представляет в смешном виде жертву и демонстрирует ловкость, изворотливость и находчивость героев рассказа. Умение хорошо, «хлестко» рассказать о каком-либо событии ценится в воровской среде чрезвычайно высоко.

Весь характер хвастовства предполагает нечто, отдаленно напоминающее «камлание» шамана. Хвастают для укрепления собственной силы, самообладания, уверенности в себе и вместе с тем для закрепления своей власти над подчиненной «бразжкой». Большинство воровских песен несомненно носит отпечаток этого хвастовства. Воровская песня — это обычно рассказ вора о своих «подвигах», чаще всего ведущийся от первого лица (единственного или множественного числа). Все это — изложенные в стихотворной форме «охотничьи» рассказы.

Таковы:

Я вор-чародей, сын преступного мира...

Старушку божью зарезал,
Сломал я тысячу замков —
Вот громила я каков...

Мы со Пскова два громилы...

Прибежала я на бан,
Бан же синеватый...

Гоп со смыком это буду я...

Смотрите, граждане! Я девочка гулящая...

Вот полный образец такой песни¹⁰:

Мы летчики-налетчики,
Ночные переплетчики,
Наш девиз — крылатый туз.
Мы летчики-налетчики,
Ночные переплетчики,
Мы страшный профсоюз.

¹⁰ Наиболее ранняя из известных русских городских мошеннических песен, имеющаяся в книге «Обстоятельная и верная история российского мошенника, славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина» (М. 1793, изд. 4) резко выделяется среди приводимых рядом с ней разбойничьих песен. Привожу наиболее характерные строфы:

Стенька Разин, Сенной и Гаврюшка,
Ванька Каин и лжехрист Андриюшка,
Хоть дела их и славны и коль не срамны,
Прах против наших картежных дел.

Ни стыда ни совести в вас нету,
Олухам-то здешним не в примету
Карты подрезные, крапом намазные,
Делайте разом и нечёт и чёт.

Мы в камзолах, хотя без кафтанов,
Веселее посадских брюханов,
Игру б где проведать, сыщем ли обедать,
Лишь бы попался нам в руки дурак.

Мы всюду проникаем,
Мы всюду зажигаем.
Мы всюду тут, как тут!

Одна из приведенных в словаре Irwin'a песен носит тот же характер:

We are three bums...

или:

Oh, my name is Samuel Hall.
Samuel Hall, Samuel Hall...

Ближе всего эти песни стоят, пожалуй, к жреческой воинственной песне, соединенной с пляской первобытного охотника у костра.

Остановимся еще на одном явлении, также подготавливающем почву магической значимости слова. Магический характер мышления характеризуется отождествлением предмета и слова (один из частных видов закона партиципации: Леви-Брюль, Кассирер). Это отождествление, столь характерное для примитивного сознания, находит себе блестящую параллель в отношении воров к воровской кличке. Вор, принимая ту или иную кличку, редко расстается с ней. Принятие клички — необходимый акт перехода в воровскую среду (своего рода «постриг»). Каждый вор имеет свою кличку. Он татуирует ее или ее символ на теле и не меняет даже тогда, когда она становится известной уголовному розыску, когда явно вредит ему, когда по ней становятся известными все его старые судимости («задки»).

Несмотря на часто случайное происхождение, в кличке заключается особая гордость вора, его воровская «честь». Она — предмет бережного охранения.

Изучение воровских кличек представило бы любопытнейший материал прежде всего для сравнения с тотемами первобытных народов. Кличку может носить не только отдельный вор, но и целая шайка; кличка так же, как у первобытных народов, заимствуется в ряде случаев из животного мира. Большинство кличек свидетельствует о каких-либо достоинствах вора и только в качестве наказания за воровством утверждается кличка, которая его губит и не дает хотя бы немного подняться по сложной лестнице воровской иерархии.

Основным коллективным представлением воров, определяющим их отношение к окружающему, служит представление о борьбе двух миров. Вор, как и первобытный человек, делит весь мир на две половины: «свою» — добрую и «чужую», «фраерскую» — злую. Все, что бы ни происходило во внешнем мире, для первобытного охотника сводится к борьбе доброго и злого начал, для вора же к борьбе «своего» и «чужого» сводятся все социальные взаимоотношения. В эту борьбу вор отчасти включает и неодушевленные предметы (воровские суеверия), но делает

это, правда, с меньшей последовательностью, чем первобытный охотник.

«Урки (т.е. воры) и мурки (агенты уголовного розыска) играют в жмурки», — говорит вор. «Зима ваша — лето наше», т.е. летом берут перевес воры, зимой же не воры. «Ваша не пляшет», т.е. вора́м не везет. Эти поговорки дают некоторое представление о той борьбе двух начал, которую воры кладут в основу своего мировоззрения, в которую включают даже речь.

Все слова своей речи вор делит на «свои» и «не свои». Об определенных вещах можно говорить только в определенных, принятых выражениях. Эти слова не всегда являются теми, которые принято называть воровскими. В самом деле, из двух обычных слов для одного и того же понятия: «вор» и «жулик» — одно может быть употреблено, а другое не может. Есть воровские слова, перешедшие в не воровскую среду и поэтому переставшие быть «своими». С этой точки зрения как «не свои», «хулиганские» расцениваются такие слова, как «шамать» (есть), «хрять» (идти), «лямзить», «пулить», «свистнуть» (воровать) и др.

Irwín (составитель американского бродяжнического словаря), который, как мы уже отметили, обладает 20-летним опытом бродяги и наблюдения которого поэтому особенно ценны, говорит во введении к своему словарю о следующем факте: «Its [slang's] proper use is still a matter of real pride to every real tramp, and the newcomer to the road is easily recognised by his ignorance of the tong. No matter how much natural agility or strength he may call to his aid in boarding a moving train, no matter what native ability he may have at soliciting food or alms, so long as he misuses tramp slang the recruit is looked down upon by the «perfesh», the «blowed in the glass stroller». И немного дальше: «The last thing a real tramp will admit is his ignorance of what a new word or group of words may mean». «Его (slang'a) подходящее употребление все еще предмет настоящей гордости для каждого настоящего бродяги, и новоприбывшего на этот путь легко узнают по незнанию языка. Не имеет значения, сколько природной ловкости и силы понадобится ему, чтобы сесть на движущийся поезд; не имеет значения, какие природные способности у него к выпрашиванию еды или подаяния; до тех пор, пока он неправильно употребляет slang, к нему относятся как к «perfesh», «the blowed in the glass stroller» (совсем отпетый бродяга) (не совсем точный перевод)». «Последнее, в чем признается настоящий бродяга, это — незнание значения нового слова или группы слов». То же отношение к воровскому языку в воровской среде наблюдается и у нас.

Воровская речь должна изобличать в воре «своего», доказывать его полную принадлежность воровскому миру наряду с другими признаками, которыми вор всячески старается выделиться в окружающей его среде, подчеркнуть свое воровское достоинство: манера носить кепку, надвигая ее на глаза, модная в воровской среде одежда, походка, жестикация, татуировка. Не понять какого-либо воровского выражения

или употребить его неправильно — позорно¹¹. Воры часто соблюдают чисто внешнюю, отчасти даже демонстративную таинственность¹², помогающую им выделить себя в качестве «посвященных» из остальных «профанов», «фраеров» (дураков).

В дальнейшем мы увидим, почему это так происходит, мы увидим, что язык для вора наполнен идеологическим содержанием, социально направлен. Неумение назвать предмет по-воровски изобличает и незнание воровского отношения к нему, изобличает нетвердость идеологии. Такой человек может оказаться опасным в воровской среде.

Вот несколько примеров таких идеологически направленных слов: «кугут» — основное значение 'крестьянин', слово заключает в себе презрительное отношение к крестьянину, как бы указание на то, что такого человека легко обокрасть, имеет насмешливый оттенок; «жиган» — 'лихой вор', воровской герой, наделенный всеми «блатными достоинствами»; слово заключает в себе оттенок восхищения, одобрения. Почти все воровские слова обладают этой эмоциональной оценкой.

Не будет преувеличением сказать, что вера во внутреннюю силу слова в воровской среде в некоторых отношениях распространена не менее, чем в среде первобытной.

В самом деле, не только в хвастовстве и не только в постоянной приподнятости, пафосности воровской речи, служащей демонстративным признаком вора, но и в отношении к обычному русскому языку сказываются тоже первобытно-магические отношения. Неудачно, не во время произнесенное слово может навлечь несчастье, провалить начатое дело. На целый ряд слов и понятий в воровской речи накладывается табу. Эвфемизмами «опасных» понятий служат обычно грубо-фамильярные названия, подчеркивающие бодрое и насмешливо-презрительное отношение к ним. Например, вместо 'смерть' говорят: «Загиб Иваныч», «Загиб Петров», «курносая» и др.; вместо 'убийство' — «мокрое дело» и др.; вместо 'убить' — «ткнуть», «завалить» и др.; вместо 'умереть' — «сыграть в ящик», «забуреть», «загнуть» и др.; вместо 'агент уголовного розыска' — «лягаш», «лягушка» и т. д.

С другой стороны, понятия, которые касаются того, с чем вор должен быть особенно осторожен по законам воровской этики, носят отпугивающий, устрашающий характер. Так, например, нижнее белье, брюки, подушка и одеяло, которые по воровским правилам ни в коем случае не должны проигрывать в карты, носят название «кровь».

К сожалению, грубый цинизм многих выражений этого рода лишает нас возможности привести более убедительные примеры.

¹¹ A. Niceforo (*Le genie de l'argot*. P., 1912) считает склонность отдельных социальных групп противопоставлять себя остальным в языке основным фактором в образовании так называемых «специальных языков». Однако придаваемый им этому явлению биологический характер обесценивает подчас всю остроту его наблюдений. Ту же склонность A. van Gennep (*Religions, moeurs et légendes*. P., 1909. 2-me série. Essai d'une théorie des langues spéciales) берет за основание при сопоставлении «специальных языков» с языками сакральными и литургическими.

¹² Этим объясняется, почему теория тайного происхождения аргю встречает иногда сочувствие в среде самих воров.

Все то, о чем мы говорили выше, имеет непосредственное отношение к магии речи: мы говорили о сигнале в воровской речи, отмечали, что сигнал превращает слово в орудие; мы говорили о магической заряженности воровской брани и божбы; мы говорили о хвастовстве и отмечали огромную веру у воров в силу слова; мы говорили о кличке и отмечали у воров почти что первобытное смешение имени и носителя имени; мы говорили об огромной роли воровской речи как демонстрации «воровского достоинства»; наконец, в эвфемизмах мы отметили характерную для магического сознания черту — боязнь слов. Но мы все же не подошли к вопросу вплотную, мы не отметили, что в воровском слове делает его магическим или во всяком случае приближающимся к нему. В чем специфика воровской речи как магической? Мы утверждаем, — и это одно из основных положений нашей работы, — что скрытая магическая сторона воровской речи выражается в ее эмоционально-экспрессивной насыщенности.

Характеризуя воровское мышление, мы говорили о тех коллективных представлениях, которые господствуют в воровской среде. Мы должны добавить, что эти коллективные представления насквозь проникнуты коллективной же эмоцией. Леви-Брюль, говоря о коллективных представлениях первобытных народов, утверждает, что «слабая дифференцированность психики делает невозможным отделять возникновение идеи от возникновения чувств, эмоций». Вор так же, как и первобытный человек, с трудом подавляет свои импульсы, задерживающие центры его работают крайне слабо, поэтому речь вора носит импульсивный характер. Между моментом появления эмоции и произнесения слова проходит минимум времени; если употребить рефлексологический термин, то можно сказать, что «скрытый период» почти отсутствует.

Это перенесение эмоционального отношения к предмету на слово позволяет нам видеть в эмоционально-экспрессивной функции речи разновидность магической, вернее, ее ослабленную степень.

Такая характеристика пресловутой эмоционально-экспрессивной функции речи, о которой писалось столь много представителями французской социологической школы (ср. Bally. *Le Langage et la vie*, P., 1913) и их русскими последователями, должна внести, на наш взгляд, ясность в эту запутанную область. Стоило лингвисту только коснуться эмоциональной стороны слова, как в ход пускался целый ряд понятий, каждое из которых могло лишь запутать и затемнить существо вопроса: говорилось о «звучании», о «звукоподражании», о «снижении» речи, об «облегчении коммуникации», проводилась параллель с поэтическим языком и т. д. Между тем, если под магией речи мы подразумеваем отождествление в сознании говорящего предмета и слова, его обозначающего, то под эмоционально-экспрессивной стороной слова удобнее всего разуметь отождествление нашего отношения к предмету со свойствами слова. Например, наша оценка предмета (отрицательная

или положительная) переносится на слово; наше чувство, вызываемое известным предметом, также переносится на соответствующее слово и т. д. Эмоционально-экспрессивная функция резко противоположна интеллектуальной, основанной на строгом разделении слова и предмета; по существу это глубокий пережиток в современных языках¹³.

Мы снова сошлемся на Леви-Брюля, считающего эмоциональный характер особенностью первобытного мышления. «Всякий объект его (мышления — Д.Л.) восприятия вызывает более или менее сильную эмоцию, причем самый характер этой эмоции, в свою очередь, предопределен традиционно» (Леви-Брюль. Первобытное мышление. Л., 1930).

Интересен тот факт, что эмоционально-экспрессивная функция преобладает в речи тех профессиональных групп, хозяйственная деятельность которых имеет признаки наибольшей отсталости: где добыча зависит от удачи, от случая, где нет осязаемой связи между производственным процессом и продуктом труда, где труд индивидуализирован, где ценятся такие личные качества, как ловкость, изворотливость, где сильно развита конкуренция и слаба связь с хозяйством общества в целом.

Эмоциональные слова наиболее часто встречаются в речи мелких торговцев (офени), профессиональных нищих, биржевых дельцов, коммивояжеров, бродячих актеров, легковых извозчиков, некоторых мелких ремесленников, профессия которых связана с торговлей, и т. д. Все эти профессии возникли в той же ранне-капиталистической обстановке, что и воровская среда, для всех характерны отчасти те же черты речи, что и для воровской. Именно отсюда идет вульгаризация речи, неприятно поражающая всякого со стороны. Для представителей этих профессий характерно то презрительное отношение к покупателю, клиенту, зрителю, заказчику, которое характерно и для вора в его отношении к не вору — «фраеру».

Эмоциональные выражения почти не встречаются у представителей тех профессий, где заработок основан на знании ремесла, на упорном обрабатывающем, а не только добывающем труде, где крепка связь со своим классом, со всем обществом. Несмотря на все обилие терминов и профессиональных словечек, в последних профессиях все они выполняют номинативную функцию в отношении тех специфических явлений и предметов, с которыми представителям этих профессий приходится иметь дело.

Фраза железнодорожника «Принимаю скорый на четырнадцатый путь» и фраза вора «За кого ж ты меня, курва, кнацаешь» — фразы двух глубоко различных языковых систем. Следовательно, — определение воровской речи как профессиональной должно быть признано неправильным не только потому, что мы можем усомниться в правильности характеристики воровства как профессии.

¹³ Экспрессивная функция в художественной речи свидетельствует о близости художественного мышления первобытному; это отмечает Леви-Брюль.

Остановимся пока на этом и приведем образцы эмоциональной речи воров. Эмоционально действенны следующие выражения:

- волосатики — 'чужие, не свои, подозрительные';
- комендант — 'старая проститутка';
- леопард — 'совершенно опустившийся вор, отказавшийся от употребления одежды';
- охмурыл — 'глупый человек, по преимуществу большой, толстый, неуклюжий';
- штымп — 'подозрительный человек неопределенной внешности';
- слинять — 'убежать, удачно чего-либо избегнуть';
- укроп — 'неотесанный крестьянин, никогда не бывавший в городе';
- хавать — 'есть';
- и др.

Очень многие слова воровской речи получают эмоциональную нагрузку от того «метафорического» смысла, который они заключают. На метафоричности воровских выражений останавливались почти все исследователи¹⁴, и мы не будем особо об этом говорить, напомним лишь, что Кассирер считает эмоциональные и метафорические явления вызывающими друг друга, и те и другие приписывает первобытному мышлению.

Воровская речь, «блатная музыка», действительно музыка в том смысле, что она больше действует на эмоции, чем на интеллект¹⁵.

Замечательно, что индивидуальное отношение к предмету никогда не выражается в такой экспрессивной форме. Эмоционально-экспрессивная форма воровской речи передает исключительно групповое, коллективное отношение. Либо явление или предмет признается «своим» и, следовательно, заслуживающим одобрения, даже героическим, либо он признается чужим, опасным, и тогда экспрессия отрицательна.

Леви-Брюль следующим образом характеризует эмоцию первобытного человека: «Дело в том, что, исключая узко индивидуальные эмоции, которые зависят от непосредственной реакции организма, у первобытных людей нет ничего более «социализированного», чем эмоция».

Воровской язык, вернее, словарь включает в себя всю воровскую идеологию, все коллективные представления и коллективные эмоции. Вот почему воровская речь, умение употреблять воровские выражения занимают такое значительное место в воровской среде. Не зная точно употребления и смысла воровских слов, нельзя не только завоевать себе в этой среде некоторое положение, достичь известных ступеней власти

¹⁴ Английский этнограф G. Borrow, прекрасно знакомый с воровской средой европейского континента, подчеркивал метафоричность воровских аргов и на этом основании считал даже возможным предполагать происхождение их из единого источника (The Zin-cali or an account of the Gypsies of Spain, L., 1843, v. II, pp. 132-133).

¹⁵ Ср. еще «петь» — 'говорить на воровском арге'. Английское cant Hotten во вступительной статье к своему словарю считает происшедшим от средне-английского воровского слова «chaunt» 'a beggar's whine', другие — непосредственно от лат. cantare.

(воры строго различаются по рангам в зависимости от своих «заслуг»), но и получить какое бы то ни было признание.

В сущности, эмоции, выражаемые воровским языком, далеко не разнообразны. Две основных, как мы уже отметили, во всяком случае господствуют — положительная и отрицательная.

Скрытое восхищение воровским языком, его сильной экспрессией, образностью и т. п., которое заметно во многих научных исследованиях о нем, по существу глубоко ошибочно. Эмоционально-экспрессивная сторона воровского слова, несмотря на свою развитость, качественно бедна, неглубока и чрезвычайно однообразна.

Говоря о характере эмоциональной стороны воровского слова, следует помнить один момент. С точки зрения исследователей воровского языка и современного русского воровское слово есть слово, снижающее и вульгаризирующее речь. Это неверно. Речь вора всегда приподнята, он всегда чувствует себя несколько героем (с воровской точки зрения), воровской язык патетичен. Такое представление дают некоторые воровские песни:

Перещелкав в машинах маслины,
Хоть здесь перетырима мы...

и т. д.

Он поканал, а меня зачурали
И в уголовку меня повели.
Долго допрашивал агент с наганом:
С кем ты на мокром, девчонка, была.
Я же так гордо ему отвечала:
Это душевная тайна моя.

Воровские слова употребляются как снижающие речь, как озорные только в среде, не занимающейся профессиональным воровством, в среде так называемых «блатыканых» и «шпаны», к которым воры относятся с особенным презрением.

Употребление воровского слова для снижения, вульгаризации своей речи доказывает, что говорящий не принадлежит к воровской среде. Многочисленные образцы воровских выражений, приводимые Селищевым¹⁶, все именно этого рода.

Общераспространенное представление о воровской речи, искажающее настоящее положение вещей, основано на речи именно этих «блатыканых». Сниженность и вульгаризм воровской речи — особенность нашего восприятия. Она снижена с точки зрения нашей языковой системы, но в восприятии самого вора она носит «героический», приподнятый характер — без этого она не смогла бы служить основой воровской среды, признаком вора и т. д., о чем мы говорили выше.

Понятна ненависть воров к «блатыканым» — не ворами, разрушающим именно то основное, патетическое, что привлекательно для воров в их языке. Вор никогда не станет употреблять в разговоре с не вором «блатных» слов, которые могли бы произвести обратное необхо-

¹⁶ Селищев А.М. Язык революционной эпохи. 1927.

димому впечатление¹⁷. Вор произносит их всерьез, не вору — в шутку, с озорством. Изучение воровских слов, попавших в среду не воровскую, должно быть предметом особой работы — их судьба необыкновенно любопытна. Раз попав в не воровскую среду, «блатное» слово снижается и возвращается в воровскую лишенным всего своего «жиганского» ореола — возникает потребность заменить его другими или, изменив его значение, вернуть ему утраченную силу. Этим путем идет процесс создания новых воровских слов¹⁸. Рассказывают, что во время империалистической войны, когда много воров оказались призванными на военную службу и этим путем широко распространились воровские слова, воровской язык претерпел большие изменения в словаре. Многие слова перестали употребляться совсем, многие появились на смену им.

Несомненно прав Bally, говорящий в работе «Le langage et la vie» о колоссальной языкотворческой силе экспрессивной тенденции. Необходимость хлестко, экспрессивно выразиться вызывает появление новых слов.

Каждая шайка, каждая тюрьма приносили в воровскую речь все новые и новые слова; количество их не поддается даже приблизительному учету. Можно ли думать, что в результате этой, мы бы сказали, чудовищной производительности воровской речи она должна стать необыкновенно богатой словами? — слова живут чаще всего по нескольку дней, в немногочисленных группах, и быстро исчезают или переходят в пассивный запас.

В активном употреблении воровских слов у каждого вора, по нашим наблюдениям, не больше двухсот; понимает же он, конечно, гораздо больше. Плодовитость воровской речи напоминает плодовитость рыб — чем больше они мечут икры, тем больше ее погибает (характерная черта низших организмов). Только наиболее сильные из этих слов выживают в жестокой борьбе за существование, остальные постепенно расплываются в значении и гибнут, не поддержанные авторитетной «головкой» (верхами воровской среды).

Понятие 'револьвер' имеет для своего обозначения следующие названия: «волна», «иголка», «шпалер», «машина», «пушка», «шпайка», «кнут», «кукла», «плевок», «газета», «кнацер», «майдан», «дульф», «дура» и др.; также понятие денег: «бабки», «гвозди», «воробышки», «бабочки», «бог», «плитки», «форсы», «цаца» и т. д.

Возможно, что эта интенсивность словотворчества в той же мере характерна для воровской речи, как и для речи первобытных народов.

Нельзя ли предположить, что наличным богатством словаря нашего языка, в значительной мере уже окостеневшего, застывшего, мы обязаны аналогичной интенсивности словотворчества, вероятно, имевшей место в какую-то праэпоху.

VI

Семантика воровской речи значительно отличается от обыденной. Так же, как и речь первобытного человека, понятия ее по большей ча-

¹⁷ Не отсюда ли отчасти также происходит известный предрассудок о речи воров как тайной?

¹⁸ Нам приходилось встречаться со следующим распространенным взглядом на процесс обновления словаря в воровской среде: воровское слово будто бы живет в речи воров только до тех пор, пока оно не становится известным в уголовном розыске. Как только оно попадает в словари, на место его спешно изобретается новое. Это не лишенное наивности представление отражает в известной степени истинное положение вещей.

сти конкретны: эмоциональная насыщенность слова устанавливает тесную связь между словом и явлением. Как правило, воровское слово обширно по содержанию и бедно по объему. Воровской словарь почти исчерпывается словами, относящимися к воровскому быту, воровству. Воровское слово всегда касается только какого-либо специального явления и не носит того универсального характера, какой носит слово в нашей речи. К иным воровским словам приходится прилагать в словарях пространные объяснения, стремящиеся передать все своеобразные оттенки значения.

Значит ли это, что семантика воровской речи всегда определена, стабилизирована, что объем и содержание значения каждого слова всегда точно ограничены?

Для воровского языка характерно как раз обратное явление: он представляет редкий образец совершенно не стабилизированной и диффузной семантики. Прimitивные формы труда и примитивный быт создают в языке воров то положение, при котором неточность слов и их немногочисленность — нормальны. Воры привыкли разговаривать намеками и понимать друг друга с полуслова не только потому, что от природы чрезвычайно сообразительны, но потому, что сама обстановка создает благоприятные условия для апперцепции. К той же ослабленности значения ведет и склонность воровской речи к эвфемизмам.

Например, слово «навернуть» не может быть иначе передано, как «вообще что-то сделать», «произвести». Можно «навернуть скачок» — «обокрасть со взломом», «навернуть малину» — «достать тайную квартиру, тайное помещение», «навернуть фраера» — «обмануть кого-либо», «навернуть бабочек» — «раздобыть денег» и т. д. Тот же характер носят такие слова, как «хурдачить», «зашататься», «жухнуть» («убить», «ударить», «быстро что-либо сделать», «сказать», «сообразить» и др.), «зажуриться», «стрёбать» и т. п.¹⁹ Определять значение такого слова для словаря необыкновенно трудно. Смысл слова может быть только разгадан во фразе и в конкретной обстановке, в определенной внешней ситуации.

¹⁹ Многозначность воровского слова была отмечена еще В.И. Шерцелем в его замечательной по материалу работе «О словах с противоположными значениями» (Воронеж, 1884): «И в так называемых воровских языках, заключающих в себе много не только любопытных, но также много весьма важных лингвистических данных, нередко встречаются слова с противоположными значениями; так, во французском воровском языке (Argot) *prendre* означает взять, брать, но и потерять, *battant* — язык и сердце («бьет и бьется»), *cocotte* — женщина и лошадь, *bachot* — экзамен и кандидат, *extra* может означать гостя или слугу *chose dignité* или *indignité* (Lorédan Larchey. *Argot Parisien*, 9-10); *bon* — надежный человек, друг, но также лицемер, шпион (L. Larchey, 55); *cassante* — зуб (*la dent casse*) или орех (*la noix se casse*); *chic* (бывшее в употреблении уже в XVI столетии) может означать: 1) *cachet artistique, originalité, distinction, élégance*, 2) *mauvais genre, facilité banale* (L. Larchey, 91); *aucuer* — 1) выходить замуж, женить, 2) повесить (Fr. Michel. *Études sur l'Argot*, 10)». Цыганский язык, который вобрал в себя многие черты профессионального языка бродяг и конокрадов, близко роднящих его с речью воров, отличается той же особенностью. К.П. Патканов в своем труде «Цыганы» (СПб, 1887) пишет: «...нередко весьма разнообразные понятия выражаются у них (цыган) одним и тем же словом: *gadzo* значит: не цыган, чужестранец, купец, крестьянин, особа, человек, муж и пр., *godí* — разум, мнение, сердце, душа, мужество, воля, даже желудок, *tip* — резать, жать, понимать, убивать, жертвовать, писать и пр.»

Эта особенность воровской речи делает ее, несомненно, весьма близкой диффузности первобытной семантики.

В выше приведенных примерах характерна одна особенность — логическое значение всюду вытесняется эмоциональным. Последнее в нем наиболее устойчиво, и сама полисемантическая может быть лучше всего определена как полисемантическая эмоциональная.

Воровское экспрессивное и эмоционально насыщенное слово действует как толчок, как удар плетью — так же сильно, хлестко и так же бестолково. О смысле этого удара следует заключать по окружающей обстановке. Еще раз напомним то, с чего мы начали, сближая воровскую речь с магической: воровское слово есть орудие, понукание. Достаточно только заглянуть в словари Igwin'a и Chautard'a с их пространственными толкованиями каждого слова, чтобы убедиться, что полисемантическая — факт не только русского воровского аргю: цитированный нами выше Igwin отмечает факт частого непонимания слова, его многозначности и связывает это с усиленным словотворчеством.

Если мы тем не менее несколько иначе представляем себе процесс семантического и словарного творчества в речи воров, чем это делает Igwin, то все же не можем не отметить справедливости сопоставления этих двух фактов — нестабилизированной семантики и усиленного словотворчества.

Трудно сказать, облегченное ли словообразование вызывает семантическую неразбериху или семантическая нестабилизированность — потребность творить новые слова.

Есть еще одно обстоятельство, не позволяющее стабилизироваться семантике воровской речи, — отсутствие у слова семантического корня. В русском языке, например, общий корень с некоторой общей семантической значимостью стабилизирует семантику целой группы слов²⁰. В воровской речи семантический корень отсутствует, а протупающее, иногда через метафору или метонимию, если слово заимствовано из русского, обычное значение как бы сдвигает значение воровское. В этом случае воровское значение дается как бы «наплывом» на русское значение. Возьмем хотя бы названия воровских инструментов: «балерина», «гитара»²¹, «мальчики».

Интересны те русские слова, которые в воровском языке не получили нового значения, но лишь в некоторой степени его изменили. Таких слов очень много, между тем никакие словари воровского языка их не включают.

Например, «играющий» — 'хорошо играющий в карты', 'шулер'; «ломать» — 'прерывать что-либо', 'кончать с чем-либо'; «срываться» — 'уходить', 'убегать'; «острый» — 'остроумный', 'сообразительный', 'знающий'; «посылать» — 'посылать долг', 'возвращать владельцу'; «серый» — 'подозрительный', 'неясный', 'ничтожный' и др.

²⁰ Семантическая роль морфологического корня до сих пор еще мало изучена.

²¹ Ср. из воровской песни «с гитарой звонкой под полою», где явно чувствуется игра на двойном (обычном и воровском) значении слова «гитара».

Семантический распад, возврат к диффузному сознанию, к нестабилизированной семантике имеет своим результатом частые переходы слова от одного значения к другому. Так, например, воровское слово «майдан» почти за сто лет своего существования (впервые встречается у Достоевского в «Записках из Мертвого дома») переменило следующие значения: 1) 'место тюремной торговли', 2) 'суконка, на которой играют в карты', 3) 'место игры в карты', 4) 'вокзал', 5) 'железнодорожный вагон', 6) 'чемодан', 7) 'пристанционная площадь', 8) 'базар'²², 9) 'наган', 10) 'колода карт'.

Интересно, что связь между всеми этими значениями совершенно конкретная, т.е. именно такая, которую Леви-Брюль считает характерной для первобытных языков: место, где первоначально происходила тюремная торговля (место должно быть укромным), служило и для картежной игры, картежная игра обычно велась на суконке; на воле, вне тюрьмы, она по большей части происходит при вокзале, на подъездных путях, где обычно собираются вору; вокзал по смежности напоминает о вагоне и о чемоданах, «охота» на которые составляет занятия вокзальных воров; «охота» на чемоданы напоминает о другой «охоте», которая происходит тут же, недалеко от вокзала, на пристанционной площади, обычно занятой базаром. Чемодан, с одной стороны, и картежная игра, с другой, вызывает представление о колоде карт (чемодан и колода карт — ассоциация по смежности, а не по сходству, так как украденный чемодан тут же предстоит разыграть в карты между участниками кражи). Колода карт и наган — две вещи, которые нужно тщательно прятать от уголовного розыска.

Воровская речь идет по пути ослабления связи между значением слова и его звуковой стороной. Конкретный пример воровской речи облегчит нам уяснение первичной стадии звукового языка и первичные элементы звуковой речи, оторванные от определенного значения. Некоторые слова воровской речи мы можем прямо назвать асемантическими. Таково, например, слово «же»²³, случайно попавшее в словарь Попова²⁴ и определенное у него как «воровской пароль». Очевидно, что Попов, вообще бесцеремонно обращавшийся с воровским словарем, действительно встал в тупик перед определением значения этого слова, дав ему такое своеобразное определение. Слово «же», бывшее одно время модным в воровской среде, могло употребляться в любом значении: и как глагол, и как существительное, и как междометие. Само по себе, взятое изолированно, слово «же» не имеет никакого значения, но оно приобретает любое значение в зависимости от контекста и от конкретной обстановки.

²² Тюркское происхождение слова «майдан», по-видимому, все же ворами основательно забыто.

²³ Или «жэ».

²⁴ Словарь Попова (Киев, 1912), составленный в практических целях сыскной службы и посвященный «товарищам по мундиру», грубо искажает представление о воровской речи.

Можно сказать «же» и этим дать кому-либо сигнал (в зависимости от обстановки); «девчонка на же» — 'хорошая'; «это дело же» — 'провалилось', 'не удалось'; «ты кто — же?» т.е. «свой» — вор; «топай же» — 'иди воровать' и т. д. Такой характер носит и слово «собачка», одно время усиленно курсировавшее в некоторой части воровского мира.

Мы подошли к чрезвычайно интересному явлению «модных» слов — слов-фаворитов, употреблять которые возможно чаще считается признаком особой лихости²⁵. Для того, чтобы употребить слово возможно чаще, оно все время как бы «накачивается» новыми и новыми значениями, неожиданность и острота которых занимает и радует арготирующего. Само собой разумеется, что эмоционально-экспрессивная сторона слова учитывается при этом творчестве в первую очередь. Это явление фаворитных слов лучше всего может быть квалифицировано как языковое озорство — разрушить основное значение, поставить слово «на голову», придать ему необычную остроту.

Огромное количество слов в воровской речи живет только в пределах определенной шайки, в замкнутом кругу какого-либо воровского коллектива — все это недоношенные продукты постоянно бьющей струи языковой импровизации. Все они порождаются случаем, фразой из анекдота, поразившим событием.

Чтобы показать те пути, которыми идет импровизация, приведу пример. Понятие воровства, кражи ассоциируется у вора с представлением о передвижении, перемене мест. Вор говорит: «бегать по тихой», «бегать по громкой», «бегать по домухе, по скачкам, по городской» и т. д. Импровизация в данном случае может заключаться в том, что слово «бегать» заменяется каким-либо другим словом со значением передвижения. В рамках воровской речи могут быть симпривизированы и поняты следующие выражения: «ходить по тихой», «ездить по майданной», «топать по скачкам», «шнырить по берданкам», «ливеровать по карманной», «рыскать по домовой», «лазать по голубиной» и т. д. Заимствуется ли слово, означающее передвижение (в наших примерах всюду первое), из обычного русского языка, или из того же воровского, не имеет существенного значения.

Лежащее в основе понятия «коллективное представление», некая «стабилизированная» метафора, позволяет создавать неограниченное количество новых слов — лишь бы они не выходили за пределы образа.

Следовательно, основное свойство воровской речи, облегчающее языкотворчество, создающее крайне благоприятные условия для импровизации слов, — это семантическая слабость и неустойчивость отдель-

²⁵ Достоевским в «Дневнике писателя» за 1873 год (Маленькие картинки, 2) приводится интересный случай многозначности одного «нелексиконного» существительного, с помощью которого поддерживается довольно сложный разговор между шестью пьяными. Характер многозначности описанного слова, «до крайности к тому же немногосложного», поскольку это выясняется из разговора пьяных между собой, близко напоминает эмоционально полисемантические слова воровской речи.

ных слов при относительной устойчивости «метафорической» интерпретации окружающего мира.

То обстоятельство, что импровизация всегда идет в воровском языке по определенным руслам «коллективных представлений», создает положение, при котором основной фонд воровских слов, правда, не очень большой, остается почти неизменным, а сами сымпровизированные слова, часто повторяясь, в отдельных случаях понемногу закрепляются.

Импровизацией в узких пределах «коллективного представления» должен объясняться и факт периодичности появления и исчезновения в воровском словаре некоторых слов.

Воровская среда обладает сравнительно немногочисленной, но активной и прочной группой вожаков. Эти вожаки («головка») пользуются несокрушимым авторитетом и неограниченной властью. Власть эта в воровской среде тем сильнее, чем менее она основана на каких-либо видимых началах, на каком-либо реальном преимуществе вожаков. Она вызывается исключительно необходимостью самого «охотничьего хозяйства» и поддерживается общими интересами всей среды. Вожакам не только подчиняются, им подражают, они являются единственными творцами всех новшеств и исключительными инициаторами различных предприятий.

Активной языкотворческой группой в воровской среде являются именно вожаки. Их авторитет позволяет вновь создаваемым воровским словам распространяться с чрезвычайной быстротой. Каждое удачное или неудачное выражение оказывается жизнеспособным, будучи поддержано авторитетной «головкой», и обратно: любое, самое, казалось бы, удачное словечко остается не подхваченным, не действенным, если оно произнесено неавторитетным лицом. В воровской среде очень много слов, которые на первых порах своего существования связывались с определенными, впервые произнесшими их лицами.

Этот процесс распространения воровских слов с помощью некоторого внешнего авторитета также является причиной перенасыщения языка временными, мало жизнеспособными речениями.

Воровская речь как бы находится в состоянии перманентного лихорадочного возбуждения: все жизненные процессы убыстрены до крайности, а многие работают вхолостую. Возникает вопрос, не явилось ли усиленное языковое развитие в период первобытного коммунизма и родового строя также отчасти следствием наличия сильных авторитетов вождя и родоначальника²⁶?

Резюмируя все вышеизложенное относительно семантики воровской речи, мы приходим к следующему: воровская речь представляет собой приближение к магической речи первобытного человека, выражающееся в развитии эмоционально-экспрессивной стороны слова (отождествления отношения к предмету или явлению со свойствами

²⁶ Не этим ли путем шло создание и закрепление «пучков значений» первобытного языка? Аналогия напрашивается и здесь.

слова), разложение семантики, возвращение к нестабилизированной семантике, полисемантичности и даже (в некоторых случаях) асемантичности слова.

VII

Одно из свойств мышления в воровской среде заключается в наклонности конкретизировать свои представления о внешнем окружающем мире.

Прежде всего конкретность воровского аргю выражается в почти полном отсутствии или, во всяком случае, ограниченности высших обобщающих единиц, а затем в наличии громадного числа почти что синонимических слов, выражающих различные видовые подразделения, частые случаи отдельных явлений.

Например, «гладить» — 'бить наганом по голове'; «темнить» — 'бить по темени' либо «в темную», т.е. скрытым, тайным образом; «дрыновать» — 'бить палкой' («дрыном»), собственно, 'палковать'; «нести» — 'бить в самосуде'.

Родовое понятие стены отсутствует, но зато есть слова для обозначения двух частых видов стен: «батис» — 'стена в магазине' (при кражах с разбором стен); «баркас» — 'стена тюремная'.

Понятие денег также распадается на ряд частных случаев в зависимости от того, в каком отношении они находятся к говорящему. Например, «голяк» — 'деньги, украденные без кошелька или бумажника' — без «тары»; «форсы» — 'деньги в большом количестве, которыми можно щегольнуть — «форсануть»'; «воробышки» — 'деньги, легко пришедшие', 'легко давшиеся' или, наоборот, 'легко улетевшие', прокученные'; «бабки» — 'деньги по преимуществу во время игры' и т. д.

Особо обильны обозначения таких понятий, как 'кража', 'красть', для различных воровских специальностей. Так, например, вору различаются по следующим профессиям: «могильщики», «охотники», «барабанщики», «тихушники», «воздушники», «ширмачи», «мойщики», «городушники», «скокари», («скакальщики» или «скачушники»), «голубятники», «змееныши», «громщики», «мокрушники», «капорщики», «кассиры», «оборотники», «булыжники», «чернушники», «стопари», «клюкушники», «шнифера», «банщики», «пакетчики», «марвихеры», «граверы», «бондари», «берданщики», «майданщики», «вешара», «сметанники» и т. д.

Каждому из этих существительных соответствует глагол, обозначающий различные виды краж. Помимо этих глаголов, есть еще глаголы, выражающие, так сказать, «психологические» разновидности краж. Так, например, о краже профессионального характера говорят: «купить», «сторговать»; о грубой краже, часто с применением насилия, говорят: «дернуть», «дюзнуть»; о краже у слабого, не требующей ни ловкости, ни хитрости, например, у пьяного, ребенка, больного, говорят: «помыть»; о краже у своего, например, при разделе добычи, говорят: «оторвать», «отколоть»; о краже под видом займа, например, при

Самый поверхностный анализ слов этого рода показывает, что все воровские арготические слова именно этого характеризующего, описательного типа имеют определенное направление, определенную тенденцию передавать понятие более общее понятием менее общим, понятие более отвлеченное через понятие частное и т. д.

Например: «щелкать» — «стрелять»; «сделать бедным» — «обмануть»; «дешевый» — «нечестный»; «продать» — «выдать»; «вытряхнуть» — «обыграть»; «запречь» — «заставить»; «повязать» — «арестовать»; «поесть», «съесть» — «погубить»; «клево» — «хорошо», «красиво»; «зарубку класть» — «клясться», «божиться»; «запойный» — «азартный» (игрок); «хлестаться» — «играть в карты»; «срисовать» — «определить на взгляд»; «укусить» — «оскорбить»; «пустой» — «безнадежный», «бедный»; и т. д.

К этому же разряду слов, конкретизирующих действительность, относятся те, в которых явление сложное, стоящее на известном уровне культурного развития, сводится к явлению более упрощенному, не прошедшему определенной культурной обработки²⁹.

Например, «мука» — «пудра»; «сено» — «табак»; «пыль» — «мука»; «антрацит» — «махорка», «хлеб»; «колесо» — «кольцо», «монета»; «обруч» — «кольцо»; «дудка» — «наган»; «бутылка» — «шуба»; «маслина» — «пуля»; «картошка» — «бомба».

В этой же плоскости лежит и тенденция воровской речи материализовывать явления. Все более или менее отвлеченные явления или действия сводятся к таким, которые поддаются пространственному или временному учету, материализуются.

Примеры в этой области особенно характерны и обильны: «ломать» — «прекращать», «кончать»; «перекинуть» — «изменить»; «слопать каблуки» — «изменить любовнице»; «упасть» на кого-либо — «влюбиться»; «вешать», «развешивать», «взвешивать» — «думать»; «крепкий» — «доверчивый» (т.е. такой, который не сорвется); «ушлый» — «умный» (собственно, «ушастый»); «длинно» — «хорошо», «приятно» (например, «длинно живем»); «масло» — «ум», «рассудок», «сообразительность»; «воткнуть срок», «сунуть» — «дать срок» (например, «воткнуть красенькую», «сунуть нахальное дело»), «приговорить к определенному сроку заключения»; «вставить перо» — «прогнать»; «вспухнуть», «распухнуть» — «загордиться».

Эта склонность воровского мышления конкретизировать и материализовывать явления также может быть сопоставлена со свойствами примитивного мышления, например, тасманцев, которые, по свидетельству Featherman'a³⁰, вместо «твердый» говорили «как камень», вместо «высокий» — «длинные ноги», а для того, чтобы обозначить, что предмет круглый, они прибегали к сравнению его с мячом или луной.

²⁹ Часто даже просто к более дешевому.

³⁰ A. Featherman. Social history of the Races of Mankind. II div.: Papuo and Malayo Melanesians, 1887.

Конкретность арготических представлений о мире обратила на себя внимание еще Grasserie³¹, видевшего в этом основной признак языков низших слоев населения в противоположность языкам высших слоев — абстрактных и одухотворенных. Собранный им материал обилен и интересен.

Представления вора о живом мире сводят последний к простому сцеплению обстоятельств, механизмируют его, лишают инициативы, ответственности за поступки.

Любопытное представление создается у арготирующих о человеке: «арбуз», «вертлюга»³² — 'голова'; «чердак» — 'лоб', 'череп'; «полтинники», «колеса», «шары» — 'глаза'; «нюхало» — 'нос'; «дыхало», «едало», «курятник», «сарай» — 'рот'; «идолы» — 'зубы'; «звонок» («звонить» — 'говорить') — 'язык'; «свисток», «машинка», «хряпка», «дудка» («свисток подать» — 'закричать, будучи схваченным за горло') — 'горло'; «конверт» («наложить в конверт» — 'бить по загривку') — 'тыльная часть шеи'; «жабры», «душник» — 'грудная клетка' (нижняя часть грудной клетки); «грабки», «грабли», «крючки» — 'руки'; «телеграфный столб» — 'позвоночный столб'; «постановки», «катушки», «колеса», «лафет» — 'ноги'.

Естественно, что такой «механизированный» человек не идет, а «катится», не говорит, а «звонит» или «разматывается», не влюбляется, а «падает» на кого-либо, не соображает, а «вешает», гордость заставляет его «распухать», его можно «налить маслом», «вытряхнуть» и т. д.

В несомненной связи с этой тенденцией превратить человека в «неживую природу», механизировать, материализовать его поступки лежит обратная тенденция — «одухотворить», вернее, «анимализировать» некоторые материальные предметы, с которыми ему приходится иметь дело. Предметы эти изображаются как животные: «медведь», «медвежонок» — 'несгораемый шкаф' («медведя запороть» — 'вскрыть несгораемый шкаф'); «бекасы» — 'окурки' (на языке беспризорных), «охотиться на бекасов» — 'подбирать окурки'; «пчелка» — 'пуля'; «обезьянка» — 'заплечный мешок'; «голуби» — 'белье на чердаке' («спугнуть голубей» — 'обокрасть чердак'); «воробей» — 'замок' («спугнуть воробья» — 'сломать замок'). Названия животных носят большинство воровских инструментов: «выдра», «рак», «конек», «гусиная лапка», «птичка».

В этом явлении сказывается тенденция возложить ответственность за удачу или неудачу того или иного поступка на окружающие предметы (в этом отношении характерен и сам выбор предметов, подвергшихся анимализации) — тенденция, в пережиточной форме сохранившаяся и в обычной речи и особенно проявляющаяся в ней в моменты сильного эмоционального подъема говорящего.

Затем — анимализации подвергаются и люди. Это явление должно быть поставлено в несомненную связь со стремлением вора предугадать те или иные поступки. Явление, в котором заложена едва ли не самая глубокая параллель между первобытной охотничьей средой и воров-

³¹ R. de la Grasserie. Étude scientifique sur l'argot. P., 1907; Des parlars des différentes classes sociales, P., 1909; Du langage subjectif, biologique, émotionnel et sociologique ou révérentiel..., P., 1907.

³² Во французском апро: bobe, bobine, calebasse, pomme, poire, urne, chou (см. Chautard'a и др.).

ской. В самом деле, обращает на себя внимание то, что все сравнения, приводимые ворами из области животного мира, касаются главным образом тех животных, которые по преимуществу встречаются в баснях, т.е. животных, поведение которых подчинено определенным стереотипам характеристик: лиса, медведь, заяц, ворона и т. д.

Не подлежит сомнению, что традиционные, неизменяемые характеристики басенных зверей восходят к тем первобытно-охотничьим временам, когда от поведения дичи зависел успех всей охоты, когда известная характеристика поведения животного являлась результатом стремления предугадать или оправдать его поведение на охоте.

Аналогичным способом поступают воры, разбивая свою «дичь» на группы в зависимости от поведения при «охоте». Есть: «змеи» (без мн. числа), «грачи», «конек» (без мн. числа), «бобры», «жуки» и др.

Полицейские, на которых, правда, вор не «охотился», но зато они сами «охотились» на воров, назывались «лягавыми», «лягушками», «жабами», «псами», «попками», «чечетками», «снегирями», «наседками», «клухами». «Басенные» животные, т.е. животные, поведение которых обусловлено твердыми рамками их традиционных характеристик, играют и тут существенную роль.

Характерно, что деление людей на известные группы эмоционально подчеркивает те стороны их поведения, которые почти не поднимают их над животными. Люди делятся на «гавриков», «шибзиков», «охмурял», «штывпов», «волосатиков», «укроп» (без мн. числа), «дубак» (без мн. числа) и т. д.

Итак, основным свойством воровского мышления, выражаемого в речи, мы должны считать стремление к упрощению материала, накопленного восприятием, стремление к конкретизации и материализации его, к разрушению обычных реальных связей, существующих в мире, и замене их более примитивными.

При этом мы должны помнить, что это явление должно рассматриваться нами не как пассивная точка зрения (несомненно, арготирующий отличает одушевленные и неодушевленные предметы, конкретные и отвлеченные), а как известное волевое усилие. Трудно предположить, что арготирующий смешал пудру и муку, калач и замок. В воровской речи мы имеем дело не с установившимися представлениями воров о мире, а скорее, во многих случаях, с тем, каким его желает, стремится видеть вор. Воровская речь вся построена на известном волевом напряжении³³, и с этой точки зрения может быть сопоставлена только с речью бранной.

VIII

Очень трудно говорить о морфологии языка там, где по существу термин «язык» мы можем употреблять только с оговорками. Нельзя говорить о воровском языке в собственном смысле этого слова, мы мо-

³³ О целеустремленности в арго мы будем говорить в следующей нашей работе «Эмоциональные слова профессиональной речи».

жем лишь различать воровские элементы, привносимые в обычный язык. Мы только что говорили о таких элементах под углом зрения семантики, но морфологические элементы тоже имеются и носят те же черты возвращения к примитиву. Выше мы сопоставляли некоторые спортивные термины с воровскими. Продолжим наше сопоставление, попытаемся выяснить морфологическую сущность таких слов, как «аут», «райт» и т. д. и воровских «шесть», «цинк» и др. Синтаксически чаще всего они употребляются как междометия, но употребления в качестве существительного или повелительного наклонения глагола тоже не редки. Таким образом, мы стоим перед образованиями, которые вернее всего могут быть охарактеризованы как междометия, существительное и повелительное наклонение глагола одновременно. Сами по себе эти формы являются наиболее устойчивыми в воровском языке: повелительное наклонение в языке и междометия в соответствии с сигнальной функцией воровской речи, существительное как наиболее устойчивая в семантическом отношении часть речи (глаголы воровской речи обладают чрезвычайно неустойчивой семантикой).

В соответствии с особым развитием сигнальной функции часть слов воровской речи туго поддается склонению, спряжению и другим формам изменений. Есть существительные, которые не склоняются: «швай» — 'компания'; «шитвис» — 'шайка'; «хай» — 'шум', 'обыск', 'скандал'. Некоторые существительные (впрочем, близко стоящие по употреблению к междометиям) употребляются только в именительном падеже единственного или множественного числа. Например, «труба!», «дуга» — 'неблагополучное состояние чего-либо'; «пирог!», «сухарь!» — 'благополучное состояние чего-либо'. Часть глаголов имеет только форму второго лица повелительного наклонения: например, «вались» — 'замолчи' (глагола «валиться» — 'замолчать' нет) или третьего лица единственного числа настоящего времени: «светит» — '(дело) выходит, получается' (например, в выражениях «это тебе не светит», «светит или не светит, а пойду»).

Характерное явление — наличие в воровской речи своеобразных «вспомогательных» глаголов. Вместо того, чтобы сказать 'бежать', вор говорит «сделать побег»; вместо 'связать' — «сделать связку»; вместо 'красть' — «делать кражу»; вместо 'толкнуть' — «дать толкача» и т. д.³⁴

Особенно охотно вор прибегает к следующим «вспомогательным» глаголам: «дать» («дать клей», «дать толкача», «дать свинца»); «делать» («делать одежду», «делать отвод»), «держать» («держать сад», «держать майдан»); «брать» и «взять» («взять на пушку», «взять на фиру», «взять на понт»).

Все перечисленные особенности морфологии находятся в несомненной связи со склонностью воровской речи к несвободному синтаксису, о чем мы еще будем иметь случай говорить, и характерны по преимуществу для русской воровской речи. Однако в русской воровской речи есть

³⁴ Ср. во французском языке так. наз. expressions verbales.

явления, которые, не будучи сами по себе характерны для нее, находят параллели в английском и французском жаргонах. Так, например, и во французском *argot* и в английском *cant* живо чувствуется стремление к моносиллабизму — явление, характерное также и для первобытных языков. И в английском, и во французском воровском арго мы имеем многочисленные случаи происхождения слова из аббревиатуры.

В общефранцузском языке склонность к моносиллабизму выражена слабее, чем в английском, и поэтому в воровской французской речи легче уловить и выделить эту тенденцию. *Omnés* от *omnibus*, *perme* от *permission*, *posse* от *possibilité* (например, «*c'est pas posse*»), *régul* от *regulier*, *zeph* от *zéphyr*³⁵.

В русской воровской речи мы имеем: «экс» — 'грабеж' (из экспроприации), «порт» из 'портмоне' (интересное «скрещение» слова русского и воровского в слове «порткоженочка»); «культ» — 'кино в тюрьме'; «гужа» — 'ломовой извозчик'.

Очень распространены и во французской, и в английской воровской речи образования с повторением одного какого-либо элемента, которые Н.Я.Март считает «древнейшими в звуковой речи человечества образованиями».

Во французском уличном *argot* по этому способу строятся, например, все сокращения имен: *Totor* вместо *Victor*, *Nana* вместо *Anna*, *Nenette* вместо *Anette* и т. д.

В английском *cant* мы имеем такие образования, как: *dee-dee* — 'глухонемой'; *ding-dong* — 'звонок'; *lu-lu* — 'что-нибудь очень желаемое'; *gowdy-dowdy* — 'положение жертвы, удобное для совершения карманной кражи'; *gum-dum* — 'напившийся до одурения' и др.

В русской воровской речи мы имеем, правда, немногочисленные, следующие примеры: «чик-бьяк» — 'босиком', 'просто так' и др.; «фи-фу» — 'компания поджигателей'; «гоп-стоп» — 'грабеж прохожих на улице'; «цаца» — деньги; и некоторые другие.

IX

Мы уже говорили о том, что воровская речь синтетична, что значение отдельных слов определяется их местом во фразе. Мы отмечали такие явления, как однопадежные и несклоняемые существительные, глаголы, встречающиеся только в одной форме, и т. д. Все они существуют параллельно с другим явлением, отчасти их определяющим, — склонностью воровской речи отойти от свободной синтаксической конструкции речи. Если мы в нашей речи в качестве элементарной, дальше неделимой синтаксической части предложения имеем по большей части слово, то воровская речь такой единицей имеет в громадном большинстве случаев идиоматическое выражение (*associations fixes*) — готовый штамп из нескольких слов, каждое из

³⁵ Примеры взяты у Chautard'a и Sainéan'a: упом. соч.

которых не имеет самостоятельного значения: значение приобретает только сочетание слов в целом.

Любой словарь воровской речи, русской или иностранной, включает в свой состав большое количество словосочетаний, целых выражений. Примеры таких выражений: «бал поднимать» — 'поднимать шум, крик', 'создавать громкое дело'; «в девятку попасть» — 'быть пойманным', 'очутиться в безвыходном положении'; «в рифму взять» — 'опознать по приметам'; «воздух разыгрывать» — 'играть без денег'; «горбатого лепить» — 'обманывать'; «каблуки ломать» — 'изменять женщине'; «когти рвать» — 'убегать'; «на плешь сделовить» — 'сделать что-либо хорошо, крепко'; «на низок чесать» — 'применять особого рода шулерский прием'; «не в цвет» — 'неудачно', 'не во время'; «объявить туз за фигуру» — 'притвориться', 'прибедниться'; «от вольного загибаться» — 'чувствовать себя скверно' или, наоборот, 'загордиться от понюшки кокаина, которым угостили', 'попасться из-за пустяков' и др.; «очка вставить» — 'обмануть', 'показать, где раки зимуют'; «подъем набрать» — 'иметь хорошие карты на руках', 'быть в удаче'; «плясать чечетку» — 'доносить', 'выдавать', 'быть выданным'; «посадить на сквозняк» — 'с разных сторон, разными приемами атаковать жертву', 'высмеять'; «подкатить шарики» — 'выдать милиционерам'; «правила качать» — 'расправляться по воровским правилам'; «ходить в коренную» — 'постоянно с кем-либо воровать', 'быть компаньоном'; «шею ставить» — 'рисковать'.

Каждое из этих выражений не может быть подвергнуто дальнейшему членению. Отдельные слова, входящие в эти сочетания, не имеют сами по себе особого значения в воровской речи или значение их коренным образом отлично от значения идиоматического выражения в целом. В выражении «поднимать бал» слово «бал» со специфическим воровским значением в воровской речи отсутствует так же точно, как и слово «поднимать»³⁶.

Огромное большинство воровских слов хотя имеют значение вне привычного идиоматического словосочетания, однако не во всякой фразе могут быть употреблены. Не каждое русское слово во фразе с идентичным значением мы можем подменить воровским. Например, воровское слово «длинно» — 'хорошо' легче всего может быть употреблено в выражении «длинно живем», но едва ли можно сказать «длинно

³⁶ Эти идиоматические выражения, однако, могут быть подвергнуты сокращению в речи. Своеобразные сокращения характерны для современного состояния английского рифмического жаргона, где каждое речение, как правило, состоит не меньше чем из двух слагаемых. Сокращению при этом подвергается та часть речения, которая рифмуется с заменяемым словом. Речь, таким образом, оказывается нарочито затрудненной. Вот образцы сокращений:

Основное значение	Полное рифмическое выражение	Сокращенное слово рифм. жаргона
Brandy	Jack the Dandy	Jack
Gin	Needle and pin	Needle
Money	Bees and honey	Bees

(The Bookman, 1934, October, p. 33)

сделай что-нибудь». Воровское слово «масло» — 'ум', 'сообразительность', 'знание' — может быть употреблено только в выражениях вроде «на это дело масла иметь», «здесь без масла не поедешь» и в некоторых других, но не может механически во всех русских фразах заменять слово 'ум'. Суть в данном случае не в том, что воровское слово «масло» имеет какой-то оттенок значения, которого нет в обычном русском слове, а в том, что воровское слово имеет тенденцию употребляться только в определенных штампованных сочетаниях. Воровской язык имеет большое тяготение к штампу, к трафарету. Очень много воровских выражений строится по одному способу, по одной схеме. Особенно часты, например, сочетания с предлогом «на»: «на баса», «на бога», «на горло», «на динаму», «на житуху», «на здюм», «на зекс», «на низок», «на нитку», «на сухую», «на блат», «на светлую», «на темную», «на фик», «на фиру», «на чистуху», «на хапок», «на рывок», «на чикву», «на псул» и др.³⁷ Все эти выражения имеют и приблизительно однородное значение, характеризуя способ, которым производится то или иное действие. Эта склонность к сложным идиоматическим словосочетаниям — один из моментов перехода к твердому, упрощенному синтаксису и упрощенной морфологии: речь воров сокращается, фразы носят обрывочный характер. Пропуск во фразе сказуемого³⁸ или подлежащего, которые при этом подразумеваются, — обычное явление. Сокращается и штамп; если он длинен — его продолжение угадывается. Не мешает этой штампованности, стереотипности воровской речи и импровизация, о которой мы говорили выше. Импровизация именно потому и возможна, что всякое новое выражение строится по определенным шаблонам, направляется по изъезженным путям.

Именно здесь-то воровская речь и заходит в окончательный тупик. Потребность в экспрессивно заряженном, эмоционально напряженном, логически значимом слове требует постоянного языкового творчества, реально же этого творчества не оказывается, — едва родившись, слово сжато тисками традиций, тисками готовых штампов, слово оказывается мертворожденным.

В этом одна из причин, почему гибнет и не прививается огромное количество вновь образуемых слов и почему основной фонд воровской речи остается неизменным в течение веков³⁹. Если в первобытных языках мы можем предполагать, что импровизация была действительно творческим моментом, двигавшим язык вперед, создавшим его словарь, то в воровском языке импровизация этого значения уже не имеет. Тогда первобытно-охотничий язык двигался вперед — теперь воровской

³⁷ Словарь Irwin'a также содержит 21 воровское выражение с предлогом «оп», аналогично построенных.

³⁸ Есперсен подчеркивает экспрессивность речи в результате пропуска глагола (Philosophy of Grammar, p. 311).

³⁹ См., например, воровские слова, попадающиеся в книге «Обстоятельное и верное описание жизни славного мошенника и вора Ваньки Каина». М., 1779 г.

язык движется назад, и в этом их существенное диалектическое различие.

Х

Перейдем к следующему явлению, роднящему воровскую речь с первобытной, — языку жестов. Мы говорили выше о собственно «тайных» воровских языках, отмечали их «условное», искусственное происхождение, недолговечность их существования. В тюрьмах была еще одна разновидность «тайного» языка, которым пользовались преимущественно для переговоров из окна в окно, — это язык жестов, чисто условный, искусственный. Характер его приблизительно такой же, как и сигнализации моряков или языка глухонемых. Передаются или буквы, или целые слова в зависимости от системы языка. Называется этот способ ведения переговоров «маяком» или «светом»⁴⁰.

Гораздо интереснее те 10—15 жестов, возникшие в обыденной воровской речи и вытесняющие из нее обычные воровские слова. Эти жесты несомненно можно рассматривать как языковое явление, как явление, имеющее аналогию в кинетической речи первобытных народов.

Говоря о магическом характере воровской речи, мы отмечали те несколько понятий, произнесение которых вслух затруднено, на которые наложен некоторый запрет. Это явление, без всякого сомнения, связано с обрывочным характером воровского синтаксиса, с пропуском сказуемого, подлежащего. Воровская речь носит заторможенный характер. Вор боится произнести лишнее, боится выдать себя или других из-за своей болтливости, боится произнести запретные слова — слова табу. Внутренняя напряженность воровской речи часто не разрешается ничем, остается подавленной. Здесь-то и приходит на помощь жест как разрешение того напряжения в речи, которое стало результатом запрета на известное слово.

Не будучи в состоянии произнести запрещенное слово «кража», вор показывает его жестом, делая движение рукой. Так же точно понятие нагана, бандитизма, стрельбы, вооруженного грабежа и т. д. вор показывает, делая движение указательным пальцем руки, как бы спускающая курок. Желая дать понять, что необходимо соблюдать осторожность, или выразить понятие доноса, агента уголовного розыска и т. д., вор делает движение рукой, как бы стуча по столу. Тот же жест выражает занятие проституцией.

Каждый из этих жестов есть некоторый намек, намек прежде всего на действие, которое необходимо выполнить в указанной обстановке.

Воровской жест не мог бы появиться, если бы речь воров была менее эмоционально насыщена, если бы различие слова и предмета было более глубоко, если бы каждое воровское звуковое слово не вызывало у переговаривающихся известного моторного, мускульного эффекта. Моторный тип мышления воров (весьма вероятно, что у первобытных народов мы имеем то же явление) создает положение, при котором

⁴⁰ Те же названия, что и для «тайных языков», см. стр. 57.

слово действует не только на кору головного мозга, но и на мускульную систему. Роль сознания у воров не значительнее, чем у человека в нормальной общественной обстановке. Вот почему и эмоциональная сторона слов у воров так развита.

Таким образом, воровской жест является результатом, с одной стороны, мускульно-моторного восприятия слов (это явление легко поддается экспериментальной проверке), с другой стороны — словесной синкопы, пропуска, запрета на некоторые слова; является боковым разрешением того напряжения, которое получается в результате умолчания, и, с третьей стороны, свидетельствуя о близости и неразличимости в сознании воров слова и предмета, слова и действия, лежит в несомненной связи с эмоционально-экспрессивной стороной воровской речи.

Семантически жест продолжает общую тенденцию воровского языка к полисемантической, в частности, эмоциональной полисемантической. Жест всегда связан с целым комплексом понятий, в котором и действие, и предмет неразличимы.

Переход к языку жестов органически подготовлен всей системой воровского языка.

XI

Чем ближе мы к первобытному мышлению, чем ближе мы к примитивно-охотничьему сознанию, тем с большей силой свидетельствует слово о принадлежности произносящего к определенной среде, слово оказывается погруженным в самую толщу производственного и хозяйственного процесса.

В первобытной среде мы встретимся с любопытным явлением: вождь племени и его подчиненные употребляют разные слова, разные слова мы встретим в языке мужчин и женщин. Одно и то же лицо в качестве жреца будет говорить на одном языке, употребляя одни слова, и в качестве рядового члена родовой общины — на другом.

Леви-Брюль указывает на различие в языке женщин и мужчин у рыбаков, золотоискателей, искателей камфоры и других «охотничьих» профессий так называемых примитивных народов. Охотники Сванетии говорят на одном языке на охоте и на другом дома, в обычной обстановке.

Аналогичное явление можно наблюдать и у воров. Воровские выражения вор употребляет только в среде «своих» — с не ворами он будет их избегать.

Весьма вероятно, что вор прекрасно сознает, что тот эмоционально-экспрессивный, магический элемент, который вложен в слово, будет понятен только вору же, на не вора он не произведет должного впечатления, и вложенный в него «заряд» пропадет даром. У воров есть своеобразное, весьма развитое языковое чутье, позволяющее им, как мы уже отмечали, строго различать между «своими», воровскими, и «чужими», не воровскими, словами. Переход с одного языка на другой не составляет никаких затруднений.

Вор двуязычен, воровские и обычные литературные слова для него существуют параллельно. Вор с легкостью переходит от употребления воровских слов к обычным и обратно в зависимости от обстоятельств.

С этой точки зрения нам будет понятен и вопрос о языке воровской письменности. Почти каждый вор имеет альбом, в который заносит произведения особого альбомного жанра: «романсы» и песни. Альбомы эти очень берегутся и составляют при картежных играх определенную денежную ценность, сравнительно с ценой книг очень высокую. Характерно, что в них почти отсутствуют воровские слова. Сохраняются только некоторые воровские обороты, которые самими ворами не осознаются как воровские.

Например:

Ах, зачем же своей красотой
Он на хально⁴¹ любить заставлял...

Между тем многочисленные альбомные произведения встречаются только в альбомах и, несомненно, созданы в воровской среде.

Язык альбомов — это язык промежуточный между обычным русским и воровским. Язык, который сохраняет только те воровские элементы, которые сам вор не признает за «свои». В этом плане он представляет незаменимый материал для изучения отношения воров к собственному языку. Воровские слова самими ворами осознаются как такие, которые не могут быть употреблены в письменном виде. Письмо не вяжется прежде всего с эмоционально-экспрессивной функцией слова, которая, как кажется (положение требует сугубой проверки), связана ближе с артикуляционно-моторной стороной, чем с его зрительной и слуховой.

В воровском языке мы имеем ту же тенденцию различать письменный и устный языки, которая была характерна для первых ступеней развития письменности.

XII

Какие выводы о языке вообще и о его зарождении можно сделать из приведенного материала? Характеризуя воровскую среду, мы прибегли к помощи аналогии; аналогией же мы пользовались и при характеристике воровской речи. Аналогия служила прежде всего методом проверки устанавливаемых нами связей языка, мышления и социально-экономического базиса. Устанавливая ту или иную зависимость, мы проверяли ее правильность на аналогичных зависимостях в примитивных языках. Естественно, что при этом нами принимались в расчет не только сходства, но и различия: отсутствие различий позволило бы нам говорить не об аналогии, но о тождестве.

Однако отношения воровской речи и речи примитивной не ограничиваются только аналогией. В некоторых случаях мы имеем дело с такими явлениями, когда отдельные атавистические моменты в со-

⁴¹ Здесь в смысле 'насилно'.

временной речи начинают снова развиваться и крепнуть в речи воровской.

Таковы, например, отдельные случаи магической речи, сохранившиеся в современной (например, речь бранная) и начавшие усиленно развиваться в воровской. В случае воровской речи связь ее с примитивной оказывается хотя и отдаленной, но вполне реальной.

Работа К.Р.Мегрелидзе «О ходящих суевериях и «пралогическом» способе мышления (ответ Леви-Брюлю)»⁴² показала с достаточной ясностью: то, что мы называем первобытным «пралогическим» мышлением, может отлично уживаться и в современном обществе, будучи лишь поддержано внешними условиями существования.

То же происходит и в языке: будучи вызваны примитивными условиями существования воровской среды, в воровском языке могут возрождаться первобытные формы речи, слова, которые способны уживаться с вполне современными.

Так же точно, как суеверия гнездятся в современном обществе, возвращая его по временам, в зависимости от внешних обстоятельств, к первобытному магическому сознанию, по существу вполне доступному нашему пониманию, и в воровской речи усиливаются, интенсифицируются те стороны языка, которые, как и воровская среда, находятся под влиянием особых внешних обстоятельств, возвращают ее к первобытным, примитивным языковым типам благодаря особенностям нашего сознания, в реликтовых формах сохраняющихся до сих пор.

Подобно тому, как мы можем говорить об атавизме в антропологии, о рецидиве признаков первобытного человека, давно уже исчезнувшего, так же точно мы можем говорить об атавистических явлениях в языке, о рецидиве форм такого первобытно-охотничьего языка, которого в чистом состоянии уже нет, о котором мы можем только догадываться.

Больше того, случаи атавизма в антропологии служат нам прекрасной проверкой наших представлений о первобытном человеке: очевидно, что случай атавизма в языке может явиться не худшей проверкой наших представлений о первобытных языках, в чистом, непосредственном состоянии давно исчезнувших. Уже сейчас мы можем сделать некоторые предположения.

1. Мы устанавливаем возможность существования языка, служащего для односторонней связи: таков воровской язык, организующим и коррелятивным моментом которого является эмоционально-экспрессивная функция речи. Этот момент является определяющим для примитивного языкового сознания. Признание его влечет к отказу от пресловутой «социологической» точки зрения на зарождение языка из потребности к «общению» — предполагающему наличие индивидуального сознания, возможность беседы, заинтересованности в чужом мнении и, самое главное, предполагающему в первобытном человеке

⁴² См. сб. «Академия Наук СССР Н.Я. Марру». М.—Л., 1935.

сознание наличия у собеседника такой же психической жизни, как и у себя.

При том примитивном коллективизме, вернее, стадности, которое есть у вора и которое, очевидно, было у первобытного человека, этого сознания нет.

С речью можно обращаться к предмету (что отнюдь не свидетельствует о наличии анимистического сознания) точно так же, как и к человеку; речь служит для организации охоты, для того, чтобы понудить, заставить и т. п.

Одним словом, первобытный язык есть «орудие» хозяйствования, гораздо более близкое к первобытному дротику, топору, копью, чем к современному слову, облеченному такой сложной функцией, как коммуникация⁴³, предполагающему наличие особого и сложного мироощущения, прошедшего стадию индивидуального сознания.

Если пользование орудиями отличает человека от животных, то одним из первых орудий человека было, несомненно, слово.

2. Вслед за Bally⁴⁴ устанавливая словотворческую основу эмоционально-экспрессивной функции и связывая последнюю с магической, мы можем утверждать, что на первых порах человеческого языка именно эта экспрессивная функция речи являлась главным поставщиком слов. Именно ей мы обязаны наличным богатством нашего словаря.

3. Рассматривая деградацию существительного, глагола и междометия в воровском языке, стремящихся слиться друг с другом, мы приходим к предположению, что наиболее примитивным было слово, в котором диффузно сливались элементы междометия, существительного и повелительного наклонения глагола, слово, устанавливающее наличие известного факта и вместе с тем дающее приказание к известному действию. Одновременно это слово было магически и эмоционально заряжено.

4. Рассматривая переход от звуковой речи к жесту в воровской среде, мы пришли к выводу, что жест явился результатом умолчания, запрета на некоторые слова в речи. Обобщая этот процесс, мы можем предположить, что в переходе от языка жестов к языку звуковому значительную роль играло «жестовое» умолчание, табу на жест и что первые слова были, в известной мере, эвфемизмами жестов.

Это положение требует особенно тщательной проверки. Если сопоставить три следующих факта: 1) что эмоция и мускульная система человека непосредственно связаны, 2) что примитивное сознание склонно

⁴³ Функция коммуникации, общения предполагает в качестве своей основы понятие истинности, некоего соответствия слова и факта. Этого понятия также не знает воровская среда. Для нее слово само по себе факт. О каком же соответствии может идти речь? Ложный сигнал для вора прежде всего напрасный сигнал. Обман — это понуждение к действию, которое или напрасно, или невыгодно. Восприятие воровского языка, а, следовательно, возможно, и языка первобытного, так же естественно и непосредственно, как восприятие крика, лая собаки, грохота обвала, стука в дверь. Речь в этом случае не знак о факте, а сам по себе факт, не символ вещи, а сама вещь. Восприятие примитивного человека не опосредовано, а непосредственно.

⁴⁴ Ch. Bally. *Le langage et la vie*, P., 1913.

к моторному, мускульному типу мышления и что 3) жестовая речь соответствовала в этом отношении типу мышления первобытного человека, то мы приходим к выводу, что эмоционально насыщенное слово продолжало в этом, т.е. эмоциональном, отношении положение, создавшееся еще в жестовой речи. Линейная речь была настолько эмоциональна, что нам трудно даже себе это сейчас конкретно представить. Делать окончательно выводы пока еще рано.

Остается пожелать только, чтобы в этом направлении были сделаны необходимые исследования и чтобы социальная диалектология, а с ней вместе и воровская речь вошли в сферу изучения языкознания.

Надо в корне пересмотреть все наши «коллективные представления» о воровской речи, выйти из той традиции, которая сложилась в литературе об арго. Воровской язык способен дать лингвистике ряд интересных фактов.

ХІІІ

Мы взялись доказать обратимость стадияльного процесса и успели в этом только отчасти.

В самом деле, поскольку мы не можем называть воровскую речь языком, а лишь языковой тенденцией, лишь некоторой совокупностью языковых явлений, постольку же мы не можем говорить и о том, что воровская речь регрессирует до какой-либо определенной стадии, не можем провести и полной аналогии воровской речи с речью первобытно-охотничьего периода. Мы можем лишь наметить тенденцию регресса, лишь отдельные элементы регрессивности.

Мы говорили о магической и эмоционально-экспрессивной функциях, о синтетизме и полисемантизме, об аморфности, о языковой импровизации: магическая функция речи тесно связана с эмоционально-экспрессивной, эмоционально-экспрессивная, в свою очередь, вызывает усиленное языкотворчество; усиленное языкотворчество и явление языковой импровизации влекут за собой полисемантизм, полисемантизм приводит к асемантизму и аморфности, аморфность дает разрушение синтаксиса и склонность образовывать твердые идиоматические сочетания. Все вместе дает цельную картину тенденции к языковому регрессу. Воровская речь имеет тенденцию регрессировать, но тем не менее не регрессирует целиком к какой-либо определенной стадии, а заключает в себе элементы, более всего отвечающие тому мышлению, которое мы называем первобытным.

Воровская речь не может отказаться от того строя обычного языка, который окружает, несмотря на все преграды, внутренние и внешние, их немногочисленную языковую среду и который представляет существенное завоевание культуры; но с отпадением многих функций речи (и прежде всего коммуникативной), с обращением к «стадности» общественной жизни, с переходом к примитивным формам хозяйственной деятельности речь постепенно деградирует, сдавая позиции, и в резуль-

тате представляет любопытнейшее смешение примитивных и современных форм.

Воровская речь в том виде, в каком она существует в настоящее время, есть равнодействующая консервативной (на сей раз весьма ценной) силы, стремящейся сохранить обычные формы разговорной речи, и силы, влекущей ее назад, к темному, диффузному и магическому сознанию.

Воровского языка нет, так как воровская среда не знает единой языковой системы: есть только воровская речь, отличающаяся от обычной тенденцией к языковому примитиву.

Было бы, пожалуй, слишком смело называть эту тенденцию регрессом, под которым обычно понимают организованное и спокойное отступление по всему фронту, отступление с учетом и мобилизацией всех сил. Скорее, мы имеем здесь дегенерацию: паническое, неорганизованное бегство, бегство не на старые позиции, а куда придется, лишь бы назад, бегство, искажающее языковые формы, заставляющее их патологически изменяться.

В воровской речи мы имеем дело с патологией языка.

Ломброзо, несомненно, прав, определив, несмотря на свой сомнительный биологизм и устаревшую психопатологию, первобытные, дегенеративные черты преступника. Необходимо только заменить понятие преступника понятием преступной среды, и твердое социологическое обоснование его теории подскажется самим материалом.

В воровском языке мы имеем дело с языковым примитивом. Глубоко ошибочно все то скрытое восхищение им, которое проскальзывает в многочисленных исследованиях воровского языка.

Подобно тому, как воровская среда с точки зрения государства антигосударственна, с точки зрения принадлежности к отдельным классам деклассирована, с точки зрения хозяйственной — дезорганизует хозяйственную жизнь, а с точки зрения общества — глубоко антисоциальна, так же точно и воровская речь с точки зрения семантики — разрушает семантику, с точки зрения синтаксиса — разрушает синтаксис, с точки зрения морфологии — разрушает морфологию, с точки же зрения языка вообще она — явление резко отрицательное. Мы вводим эти оценочные суждения в нашу работу вполне сознательно. С той же точно решительностью, с которой криминолог определяет преступление как явление антисоциальное, лингвист должен квалифицировать явление воровской речи как явление, разрушающее язык.

Воровская речь — это болезнь языка. Диагноз ее — «инфантилизм» языковых форм.

Слова воровской речи характерны своей необычайной экспансией, способностью распространяться далеко за пределы воровской среды. С этими воровскими словечками и словцами распространяется яд воровской идеологии, воровского мировосприятия. Для борьбы с этим необходимо знать и социальный, и лингвистический смысл происходящего явления, необходимо уметь его правильно оценить.

Нет никаких сомнений в том, что арготические явления постепенно исчезнут в языке. Уже сейчас нет целого ряда профессий, для которых характерны высокоразвитые аргы и о которых мы имеем многочисленные свидетельства в прошлом: нет лаборей, бродячих ремесленников, мелких бродячих торговцев (офеней), нищих профессионалов, биржевых маклеров и т. д. Меняется и воровская среда. Наше дело ускорить этот процесс исчезновения арготизмов*.

1933.



* Работа написана в 1933 г., опубликована в сборнике Института языка и мышления имени Н.Я.Марра АН СССР («Язык и мышление», III-IV, М.-Л., 1935, с. 47-100), с приложением библиографии до 1933 г. Благодарю В.П. Нерознака за внесенные в работу поправки.